

ПАВЕЛ АНТОКОЛЬСКИЙ

СЫН

A 72.
31939

советский писатель 1943



ПАВЕЛ АНТОКОЛЬСКИЙ

ВЫН

ПОЭМА

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
МОСКВА 1943

A-72 + 355 (08)

Памяти младшего лейтенанта Владимира Павловича Антокольского, павшего смертью храбрых 6 июля 1942 года.

СЫН

1

Вова! Я не опоздал? Ты слышишь?
Мы сегодня рядом встанем в строй.
Почему ты писем нам не пишешь,
Ни отцу, ни матери с сестрой?

Вова! Ты рукой не в силах двинуть,
Слез не в силах с личика смахнуть,
Голозу не в силах запрокинуть,
Глубже всеми легкими вздохнуть.

Почему в глазах твоих навеки
Только синий, синий, синий цвет?
Или сквозь обугленные веки
Не пробьется никакой рассвет?

●

Видишь, — вот сквозь вьющуюся зелень
Светлый дом в прохладе и в тени.
Вот мосты над кручами расселин.
Ты мечтал их строить. Вот они.

Чувствуешь ли ты, что в это утро
Будешь рядом с ней, плечо к плечу,
С самой лучшей, самой златокудрой,
С той, кого назвать я не хочу?

Слышишь, слышишь, слышишь канонаду?
Это наши к западу пошли.
Значит, наступленье: Значит, надо
Подыматься, встать с сырой земли.

И тогда из дали неоглядной,
Из далекой дали фронтовой
Отвечает сын мой ненаглядный
С мертвою горящей головой:

— Не зови меня, отец, не трогай.
Не зови меня, — о, не зови.
Мы идем нехоженой дорогой,
Мы летим в пожарах и в крови.

Мы летим и бьем крылами в тучи,
Боевые павшие друзья.
Так сплотился наш отряд летучий,
Что назад вернуться нам нельзя.

Я не знаю, будет ли свиданье.
Знаю только, что не кончен бой.
Оба мы — песчинки в мирозданьи.
Больше мы не встретимся с тобой.

Мой сын погиб. Он был хорошим сыном,
 Красивым, добрым, умным, смельчаком.
 Сейчас метель гуляет по лощинам,
 Вдоль выбоин, где он упал ничком.
 Метет метель и в рог охрипший дует,
 И в дымоходах вост, и вопит
 В развалинах.

А мне она диктует
 Счета смертей, счета людских обид.
 Как двое встретились? Как захотели
 Стать близкими? В какую из ночей
 Затеплился он в материнском теле,
 Тот синий огонек, еще ничей?
 Пока он спит и тянется, и тянет
 Ручонки вверх, ты все ему отдашь.
 Но погоди, твой сын на ножки встанет,
 Потребует свистульку, карандаш.

Ты на плечи возьмешь его. Тогда-то
Заполыхает синий огонек.
Начало детства, праздничная дата,
Ничем не примечательный денек.

В то утро или в тот ненастный вечер
Река времен в спокойствии текла,
И крохотное солнце человечье
Рванулось в мир для света и тепла.

Но разве это, разве тут начало?
Начала нет, как, впрочем, нет конца.
Жизнь о далеком будущем молчала,
Не огорчала попусту отца.
Она была прекрасна и огромна
Все те года, пока мой мальчик рос,—
Жизнь облаков, аэродромов, комнат,
Оркестров, зимних вьюг и летних гроз.

И мальчик рос. Ему ерошил кудри
Весенний ветер, зимний — щеки жег,
И он летел на лыжах в снежной пудре
И плавал в море, — бедный мой дружок.
Он музыку любил, ее широкий
Скрипичный вихорь, боевую медь.

Бывало, он садится за уроки,
А радио над ним должно греметь,
Чтоб в комнату набились доотказа
Литавры и фаготы вперебой,
Баян из Тулы и зурна с Кавказа,
И позывные станции любой.

Он ждал труда, как воздуха и корма:
Чертить, мять в пальцах, красить что-нибудь
Колонки логарифмов, буквы формул
Пошли за ним из школы в дальний путь.
Макеты сцен, не иггранных в театре,
Модели шхун, не пльвших никуда...
Его мечты хватило б жизни на три
И на три века,— так он ждал труда.
И он любил следить, как вырастаали
Дома на мирных улицах Москвы,
Как великаны из стекла и стали
Купались в мирных бляках синевы

Он столько шин стоптал велосипедом
По всем Садовым, за Москва-рекой,
И столько пленки перепортил «Фэдом»,
Снимая всех и все, что под рукой.

И столько раз, ложась и встав с постели,
Уверен был: нет, я не одинок...
Что он любил еще? Бродить без цели
С товарищами в выходной денек
Вплоть до зимы без шапки. Неприлично?
Зато удобно, даже горячо.
Он в сутолоке праздничной, столичной
Как дома был. Что он любил еще?

Он жил в Крыму в то лето. В жарком полдне
Сверкал морской прилив во весь раскат.
Сверкал песок. Сверкала степь, наполнив
Весь мир звонками крохотных цикад.
Он видел все до точки, не обидел
Мельчайших брызг морского серебра
И в первый раз он девочку увидел
Совсем другой и лучшей, чем вчера.
И девочка внезапно убежала.
И звонкий смех еще звучал в ушах,
Когда в крови почувствовал он жало
Внезапной грусти, чаще задышав.
Но отчего грустить? Что за причина
Ему бродить между приморских скал?
Ведь он не мальчик, но и не мужчина,
Грубил девчонкам, за косы таскал.

Так что же это, что же это, что же
Такое, что щемит в его груди?
И сразу окрылен и уничтожен,
Он знал, что жизнь огромна впереди.

Он в первый раз тогда коснулся жизни.
Все кончено. То был последний раз.
Ты, море, всей гремящей солью брызни,
Чтоб подтвердить печальный мой рассказ.
Ты, высохший степной ковыль, наполни
Весь мир звонками крохотных цикад.
Сегодня нет ни девочки, ни полдня...
Метет метель, метет во весь раскат.
Сегодня нет ни мальчика, ни Крыма.
Метет метель, трубит в охрипший рог,
И только грозным заревом багрима
Святая даль прифронтовых дорог.

И только по щеке в дыму махорки
Ползет скупая трудная слеза,
Да карточка в защитной гимнастерке
Глядит на мир, глядит во все глаза.
И только еженощно в разбомбленном,
Ограбленном старинном городке
Поет метель о юноше влюбленном,
О погребенном — тут, недалеко.

Гостиница. Здесь, кажется, он прожил
Ночь или сутки. Кажется, что спал
На этой жесткой коечке; похожей
На связку железнодорожных шпал.
В нескладных сапогах по коридору
Протопал утром. Жадно мыл лицо
Под этим краном. Посмеялся вздору
Какому-нибудь. Вышел на крыльцо.
И перед ним открылся разоренный
Старинный этот русский городок
В развалинах,— так ясно озаренный
Июньским солнцем.

И уже гудок

Вдали заплакал железнодорожный.
И младший лейтенант вздохнул слегка.
Москва в тумане, в прелести тревожной
Была так невозможно далека.
Опять запел гудок, совсем осипший
В неравной схватке с песней ветровой.
А поезд шел все шибче, шибче, шибче
С его открыткой первой фронтовой.
Все кончено. С тех пор прошло полгода.
За окнами — безлюдье, стужа, мгла.
Я до зари не сплю. Меня невзгода
В гостиницу вот эту загнала.

В гостинице живут недолго, сутки,—
Встают чуть свет, спешат на фронт, в
Москву.

Метет метель, мешается в рассудке,
А все метет.

И где-нибудь во рву
Вдруг выбьется из сил метель старуха,
Прильнет к земле и слушает дрожа.
Там, может быть, ее детеныш рухнул
Под елкой молодой, у блиндажа.

3

Я слышал взрывы тыщетонной мощи,
Распад живого, смерти торжество.
Вот где рассказ начнется. Скажем проще,—
Вот западня для сына моего.

Ее нашел в пироксилине химик,
А металлург в обойму загвоздил,
Ее хранили пачками сухими,
Но злость не знала никаких удил.
Она звенела в сейфах у банкиров,
Ползла хитро и скалилась мертво,
Змеилась, под землей траншеи вырыв.
Вот западня для сына моего.

И в том году, спокойном, двадцать третьем,
Когда мой мальчик только родился,

Уже присматривалась к нашим детям
Германия, ощерянная вся.

Я видел город тот аляповатый
В зеленых вспышках мертвенных реклам.
Он был набит тщеславием, как ватой,
И смешан с маргарином пополам.
В том городе дрались и целовались,
Рожали или гибли ни за что
И пели: «Deutschland, Deutschland über alles».
Все было этим лаком залито.

Как жизнь черна, обуглена. Как густо
Заляпаны разгулом облака.
Как вздоржали пиво и капуста,
Табак и соль. Нехватит и мелка,
Чтоб надписать растущих цен колодки.

Меж тем убийцы наших сыновей
Спят сладко, запеленуты в пеленки,
Спят и не знают участи своей.

И ты, наш давний недруг, кем бы ни был,
Берлинец с наглым каменным лицом,
На женщин жаден, падок на сверхприбыль,
Ты в том году стал наконец отцом.

Да. Твой наследник будет чистой крови,
Румян, голубоглаз и белобрыс,
Вотан по силе, Зигфрид по здоровью,—
Отдай приказ, он рельсу бы разгрыз.
Он юность проведет в домах публичных,
Пройдет насквозь Европу, как чума.
Но перечень его деяний личных
Не нужен. Он — Германия сама.
Она сама открыто и толково
Его с рожденья ввергнула во тьму.
Такого сына ждешь ты? — Да, такого.
Ему ты отдал сердце? — Да, ему.

Вот он в снегу, твой Фрицхен, отработал,
Как рваный танк. Попробуй, оторви
Его от снега. Закричи «Ферботен!»
И впейся в рот, запекшийся в крови.
Хотел ли ты для сына ранней смерти?
Хотел иль нет, ответом не помочь.
Не я принес плохую весть в конверте,
Но я виной, что ты не спишь всю ночь.

Что там стучит в висках твоих склерозных?
Чья тень в оконный ломится квадрат?
Она пришла из мглы ночей морозных.
Тень эта — я. Ну, как, берлинец, рад?

Твой час пришел.

Вставай, старик.

Пора нам.

Пройдем по странам, где гулял твой сын.
Нам будет жизнь его киноэкраном,
А смерть — лучом прожектора косым.
Над нами небо, как раздраный свиток,
Все в письменах мильонолетних звезд.
Под нами вспышки лающих зениток,
Дым разоренных человеческих гнезд.
Снега, снега. Завалы снега. Взгорья.
Чащобы в снежных шапках до бровей.
Холодный дым кочевья. Запах горя.
Все неоглядней горе, все мертвей.

По деревням, на пустошах горючих
Творятся ночью страшные дела.
Раскачиваются, скрипя на крючьях,
Повешенных замерзшие тела.
Расстреляны и догола раздеты,
В обнимку с жизнью брошены во рвы,
Глядят ребята, женщины и деды
Стекланным отраженьем синевы.

Кто их убил? Кто выклевал глаза им?
Кто, ошалеv от страшной наготы,
В крестьянском скарбе шарил как хозяин?
Кто? — Твой наследник. Стало быть, и ты...

Ты, воспитатель, сделал эту сволочь,
И пращуру пещерному подстать,
Ты из ребенка вытравил, как щелочь,
Все, чем хотел и чем он мог бы стать,
Ты вызвал в нем до возмужанья похоть,
Ты до рожденья злобу в нем разжег.

Видать, такая выдалась эпоха,—
И вот трубил казарменный рожок,
И вот печатал шагом он гусиным
По вырубленным рощам и садам.
А ты хвалился безголовым сыном,
Ты восхищался Каином, Адам.

Ты отнял у него миры Эйнштейна
И песни Гейне вырвал в день весны,
Арестовал его ночные тайны
И обыскал мальчишеские сны.

Еще мой сын не мог прочесть, не знал их,
Руссо и Маркса, еле к ним приник,—
А твой на площадях в спортизных залах
Костры сложил из тех бессмертных книг.

Тот день, когда мой мальчик кончил школу,
Был светел и по-юношески свеж,
Тогда твой сын, охрипший, полуголый,
Шел с автоматом через наш рубеж.

Ту, пред которой сын мой с обожаньем
Не смел дышать, так он берег ее,
Твой отпрыск с гиком, с жеребьячьим ржаньем
Взял и швырнул на землю, как тряпье.

Все путанней нехоженые тропы,
Все сумрачней снега, все лиловей.
Передний край. Восточный фронт Европы.
Вот место встречи наших сыновей.

Мы на поле с тобой остались чистом,—
Как ни вывертывайся, как ни плачь,
Мой сын был комсомольцем,

Твой — фашистом,

Мой мальчик — человек,

А твой — палач.

Во всех боях, в столбах огня сплошного,
В рыданьях человечества всего,
Сто раз погибнув и родившись снова,
Мой сын зовет к ответу твоего.

Идут года — тридцать восьмой, девятый.
 Зарублен рост на притолке дверной.
 Воспоминанья в клочьях дымной ваты
 Бегут, не слившись, где-то стороной,
 Не точные.

 Так как же мне взглядеться
 В былое сквозь туманное стекло,
 Чтобы его неконченное детство
 В неначатую юность перешло...
 Стамеска. Клещи. Смятая коробка
 С гвоздями всех калибров. Молоток.
 Насос для шин велосипедных. Пробка
 С перегоревшим проводом. Моток
 Латунной проволоки. Альбом для марок.
 Сухой разбитый краб. Карандаши.

Вот он, назад вернувшийся подарок.
 Кусок его мальчишеской души,

Хотевшей жить. Ни много и ни мало,—
Жить. Только жить. Учиться и расти.
И детство уходящее сжимало
Обломки рая в маленькой горсти.
Вот все, что детство на земле добыло,
А юность ничего не отняла
И, уходя на смертный бой, забыла
Обломки рая в ящиках стола.

Рисунки. Готовальня. Плоский ящик
С палитрой. Два нетронутых холста.
И тюбики впервые настоящих,
Впервые взрослых красок. Пестрота
Беспечности. Все — начерно. Все — наспех.
Все с ощущением, что наступит день,
В июле, в январе или на пасхе,—
И сам осудишь эту дребедень.
И он растет, застенчивый и милый,
Нескладный, большерукий наш чудак.
Вчера его бездействие томило,
Сегодня он тоскует просто так.
Холст грунтовать? Писать сиеной, охрой
И суриком, чтобы в мазне лучей
Возник рассвет, младенческий и мокрый.
Тот первый на земле, еще ничей...

Или рвануть по клавишам, не зная
В глаза всех этих до-ре-ми-фа-соль,
Чтоб в терциях запрыгала скеозная
Смеющаяся штормовая соль...

Опять рисунки. В пробах и пробелах
Сквозит игра, ребячливость и лень.
Так, может быть, в порывах оробелых
О ствол рогами чешется олень
И, напрягая струны сухожилий,
Готов сломать ветвистую красу.
Но ведь оленю ревностно служили
Все мхи и травы в сказочном лесу,
И невидимка в лунном одеянии,
Пригубил он такой живой воды,
Что разве лишь охотнице Диане
Удастся отыскать его следы.
А за моим мужающим олснем
Уже неслись, трубя во все рога,
Уже гнались, на горе поколеньям,
Железные выжлятники врага.
Идут года — тридцать восьмой, девятый
И пограничный год, сороковой.
Идет зима, вся в хлопьях снежной ваты.
И вот он. сорок первый, роковой.

В июне кончил он десятилетку.
Три дня шатались об руку мы с ним.
Мой сын дышал во всю грудную клетку,
Но был какой-то робостью томим.
В музее, жадно глядя на Гогена,
Он словно сжался, словно не хотел
Ожогов солнца в сварке автогенной
Всех этих смуглых обнаженных тел.

Но все светлей навстречу нам вставала,
Разубранная, как для торжества,
Вся, от Кремля до Земляного вала,
Оправленная в золото Москва.

Так призрачно задымлены бульвары,
Так бойко льется разбитная речь,
Так скромно за листвою проходят пары,—
О, только б ранний праздник свой сберечь
От глаз чужих.

Все, что добыто в школе,
Что юношеской сделалось душой,
Все на виду.

Не праздник это, что ли?
Так чокнемся, сынок.

Расти большой.

На скатерти в грузинском ресторане
Пятно вина так ярко расплылось.
Зачесанный назад с таким старанием,
Упал на брови завиток волос.
Так хохоча бесхитростно, так важно
И все же снисходительно ворча,
Он наконец пригубил пламень влажный,
Впервой не захлебнувшись сгоряча.

Пей. В молодости человек не жаден.
Потом, над персальной крутизной,
Поймешь ты, что в любой из виноградин
Нащежен тыщелетний пьяный зной.
И где-нибудь, в тени чинар, в духане,
В шмелином звоне старческой зурны
Почувствуешь священное дыханье
Тысячелетий.

Как озарены

И камни, и фонтан у Моссовета,
И девочка, что на него глядит
Из-под ладони. Слишком много света
В глазах людей. Он окна золотит,
И зайчиками прыгает по стенам,
И пурпуром ошпарил облака.
И если верить стонущим антеннам.
Работа света очень велика.

И запылали щеки. И глубоко
Мерцали пониманием глаза.
Не мальчика я вел, а полубога
В открытый настежь мир.

И вот гроза,
Слегка цыганским встряхивая бубном,
С охапкой молний, свившихся в клубок,
Шла в облаках над городом стотрубным
Навстречу нам.

И это видел бог.
Он радовался ей. Ведь пеньем грома
Не прерван пир, а только начался.

О, только не спешить. Пешком до дома
Дойдем мы ровным ходом в полчаса.

Москва, Москва. Как много гроз шумело
Над слазной головой твоей, Москва.
Что ж ты притихла? Что ж, белее мела,
Не разделяешь с нами торжества?
Любимая. Дай руку нам обоим.
Отец и сын, мы воины твои.
Благослови, Москва, нас перед боем.
Что там ни суждено,— благослови.
Спасибо этим памятникам мощным,

Огням театров, пурпuru знамен,
И сборищам спасибо полунощным,
Где каждый зван и каждый заменен
Могучим гребнем нового прибоя,—
Волна волну смызает, и опять
Сверкает жизнью лоно голубое.
Отбоя нет. Никто не смеет спать.
За наше счастье — сами мы в ответе.
А наше горе — не твоя вина.

Так проходил наш праздник. На рассвете
В четыре \ тридцать началась война.

Мы не всегда от памяти зависим.
 Случайный, беглый след карандаша,
 Случайная открытка в связке пксем,—
 И возникает юная душа.
 Вот, вот она мелькнула, недотрога,
 И усмехнулась и ушла во тьму,—
 Единственная, безраздельно строго,
 Сполна принадлежащая ему.

Здесь почерк выработывался: точный,
 Косой, немного женский, без прикрас.
 Тогда он жил в республике восточной,
 Без близких и вне дома в первый раз,—
 В тылу, в военной школе.

И вначале

Был сдержан в письмах: «Я здоров. Учусь.
 Доволен жизнью».

Письма́ умолчали

О трудностях, не выражали чувств.
Гораздо позже начал он делиться
Тоской и беспокойством: мать, сестра.

Но скоро в письмах появились лица
Товарищей. И грусть не так остра.
И вот он подавал, как бы на блюде,
Как с пылу-жару, вывод многих дней:
«Здесь, папа, замечательные люди»...
И снова дружба. И опять о ней.
Навстречу людям. Всюду с ними в ногу.
Навстречу людям — цель и горжество.
Так вырабатывался понемногу
Мужской характер сына моего.

Еще одна тетрадка. Очень чисто,
Опрятность школьной выучки храня,
Здесь вписан был закон артиллериста,
Святая математика огня,
Святая точность логики прицельной.

Вот чем дышал и жил он этот год,
Что выросло в нем искренно и цельно,
В сознании долга, в нежелании льгот.

Ни разу не отвлекся. Что он видел?
Предвидел ли погибельный багрец,
Своей души последнюю обитель?

И вдруг рисунок на полях: дворец
В венецианских арках. Тут же рядом
Под кипарисом пушка.

Но постой.

В какой задумчивости, смутным взглядом
Смотрел он на рисунок свой простой?

Какой итог, какой душевный опыт
Здесь выражен, какой мечты глоток?
Итог не подведен, глоток не допит.
Оборвалась и подпись:

В. Анток...

Ты, может быть, встречался с этим рослым,
 Веселым, смуглым школьником Москвы,
 Когда, райкомом комсомола послан
 Копать противотанковые рвы,
 Он уезжал.

Шли многие ребята
 Из Пресни, от Кропоткинских ворот,
 Из центра, из Сокольников, с Арбата,—
 Горластый, бойкий, боевой народ.
 В теплушках пели, что спокойно может
 Любимый город спать,

что хороша

Страна родная,

что главы не сложит
 Ермак на диком берегу Иртыша.

А может быть, встречался ты и раньше
 С каким-нибудь из наших сыновей,—

На Черном море или на Ламанше,
На всей планете солнечной твоей.
В какой стране, под гул каких прелюдий
На фабрике, на рынке иль в порту
Тот смуглый школьник пробивался в люди,
Рассчитывающий на доброту
Случайности... И если, наблюдая,
Узнать его ты ближе захотел.
Ответила ли гордость молодая?
Иль в суете твоих вседневных дел
Ты позабыл, что этот смуглый, стройный,
Одним из нас рожденный человек
Рос на планете, где бушуют войны,
И грудью встретит свой железный век?

Уже он был жандармом схвачен в Праге,
Допрошен в Брюгге, в Бергсене избит.
Уже три дня он прятался в овраге
От черной своры завтрашних обид.
Уже в предгрозы мощных забастовок
Взрослели эти кроткие глаза.
Уже свинцовым шрифтом для листовок
Ему казалась каждая гроза.
Пойдем за ним,— за юношей, ведомым
По черному асфальту на расстрел.

Останови его за крайним домом,
Пока он пустыря не рассмотрел.

А если и не сын родной, а ближний
В глазах шпииков гестаповских возник,
Запутай след его на свежей лыжне
И сам пройди невидимо сквозь них.
В их черном списке все подростки мира,
Вся поросль человеческой весны.
От Пириней до древнего Памира
Они в зловещих поисках точны.

Почувствуй же, каким преданьем древним
Повеяло от смуглого чела.
Ведь молодость, так быстро догорев в нем,
Сама клубиться дымом начала,—
Горячим пеплом всех сожженных библий,
Всех польских гетто и концлагерей,
За всех, за всех, которые погибли,
Он, полурусский и полужеврей,
Проснулся для войны от летаргии
Младенческой и ощутил одно:
Все делать так, как делают другие.
Все остальное здесь предрешено.
Не опоздай. Сядь рядом с ним на парте,

Пока погоня дверь не сорвала.
По крайней мере затемни на карте
В районе Жиздры, западней Орла,
Ту крохотную точку, на которой
Ему навеки постлана постель,
Завесь окно своею снежной шторой,
Летящая над городом метель.

Опять, опять к тебе я обращаюсь.
Безумная, бесшумная, пойми,—
Я с сыном никогда не отпущаюсь.
Так повелось от века меж людьми.
И вот опять он рядом, мой ребенок.
Так повелось от века, что еще
Ты не найдешь его меж погребенных,
Он только спит и дышит горячо.

Не разбуди до срока. Ты — старуха,
А он — дитя. Ты — музыка, а он,—
К несчастью, с детства не лишенный слуха,
Он будущее чувствует сквозь сон.

Весь день он спал, не сняв сапог, в шинели,
С открытым ртом,— усталый человек.
Виски немного впали, посинели
Таинственные выпуклости век.
Я подходил на цыпочках, бояся
Дохнуть на сына. Вот он наконец
Из дальних стран вернулся во-свояси,
Так рано оперившийся птенец.

Он встал, надел ремень и портупсю,
Слегка меня ударил по плечу. •
Наверно, думал:

«Нет. Еще успею,
Зачем тревожить? Лучше помолчу».

Последний ужин. Засиделись поздно.
Весь выпит чай и высмеян весь смех,

И сын молчит, не узнаю, неопознан,
И так безумно близок, ближе всех.
Какая мысль гнетет его? Как скудно
Освещена под лампой часть лица.
Меняется лицо ежесекундно.
Он смотрит и не смотрит на отца.
И все в нем недолюбленное, недо-
любившее.

В мозгу, как звон косы,
Как взмах косы: «я еду, еду, еду».
Он смотрит и не смотрит на часы.

Сегодня в ночь я сына провожаю.
Не знает сын, не разобрал отец,
Чья кровь стучит, своя или чужая.
Все потерялось в стуке двух сердец.
Все дело в том, что...

Стой. Но в чем же де
Всю жизнь я восхищался им и ждал,
Чтоб в сторону мою хоть поглядел он.
Ждал. Восхищался. Вот и опоздал.

И он прервал неконченную фразу:
— Не провожай. Так лучше. Я пойду
С товарищами. Я умею сразу
Переключаться в новую среду.

Так проще для меня. Да и тебе ведь
Не стоит волноваться.

Но без сил

Отец взмолился.

Било восемь, девять.

Я ровно в десять сына упросил.

Пошли мы на вокзал — таким беспечным
И легким шагом, как всегда вдвоем.
Лежал табак в мешке его заплечном,
Хлеб, концентраты, узелок с бельем.
Ни дать, ни взять, — шел ученик из класса
В экскурсию под выходной денек.
Мой лейтенант и вправду мог поклясться,
Что в поезде не будет одинок:
Уже в метро попутчиков он встретил.
И лейтенанты вышли впятером.
Я был шестым.

Крепчал ненастный ветер.

Зенитки били. Где-то грянул гром.
Как будто дождь накрапывал. А может,
Дождь начался совсем в другую ночь...
Да что тут: был ли, нет ли, — не поможет,
Тут и гораздо большим не помочь.

Мы были близко. Рядом. Сжали руки,
Сильней. Больней. На столько долгих дней.
На столько долгих месяцев разлуки.
Но разве мы подумали о ней?

А тут же с матерями и без близких,
С букетиками маленьких гвоздик,
Выпускники из школ артиллерийских
С Москвой прощались.

Мрак уже воздвиг
Железный грубый занавес у входа
В ночной вокзал.

Кричали рупора.
Пошла посадка.
Сколько до отхода?
Час? Полчаса?

Ну, а теперь пора.
Гражданских на вокзал не пустят,
Ну, так
Обнимемся под небом, под дождем.
Постой.

Прощай.
Постой хоть пять минутом
Пока пройдет команда, переждем.

Отец не знает, сына провозжая,
Чья кровь, как молот, ухает в виски,
Чья кровь стучит, своя или чужая.

— Ну, а теперь — еще раз, по-мужски.

И робко, виновато улыбаясь,
Он очень долго руку жмет мою.
И очень нежно, ниже нагибаясь,
Простое что-то шепчет про семью:
Мать и сестру.

А рядом, за порогом,
Ночной вокзал в сиянии синих ламп.

А где-то там, по фронтовым дорогам,
Вдоль речек, по некошенным полям,
По взорванным голодным пепелищам,
От пункта Эи на запад напрямик
Несется время. Мы его не ищем.
Оно само найдет нас в нужный миг.
Несется время, синее, сквозное,
Несет в охапках солнце и грозу,
Вверху синее тучами от зноя
И голубеет реками внизу.

И в свете синих ламп он тоже синим
Становится, и легким и сквозным,—
Тот, кто недавно мне казался сыном.

А там теснятся сверстники за ним.
На загоревших юношеских лицах
Играет в беглых бликах синева,
И кубари пришиты на петлицах.

И между ними, видимый едва,
Единственный мой сын, Володя, Вова,
Пришедший восемнадцать лет назад
На праздник мироздания живого,
Спешит на фронт, спешит в железный ад.

Он хочет что-то досказать
и машет
Фуражкой.

Но теснит его толпа.
А ночь летит и синей лампой пляшет
В глазах отца.

Но и она слепа.

Что слезы? Дождь над выжженной пустыней
 Был дождь. Благодеянье пронеслось.
 Сын завещал мне не жалеть о сыне.
 Он был солдат. Ему не надо слез.

Солдат? Неправда. Так мы не поможем
 Понять страницу, стершуюся сплошь.
 Кем был мой сын? Он был Созданьем
 Божьим.

Созданьем Божьим? Нет. И это ложь.

Далек мой путь сквозь стены и по тучам,
 Единственный мой достоверный путь.
 Стал мой ребенок обликом летучим.
 В нем каждый миг стирает что-нибудь,
 Он может и расплыться в горькой влаге,
 В соленой сразу брызнувшей росе.

А он в бою и не хлебнул из фляги,
Шел к смерти не сгибаясь по шоссе.

Пыль скрежетала на зубах. Комарик
Прильнул к сухому жаркому виску.
Был яркий день, как в раннем детстве, ярок
Кукушка пела мирное «ку-ку».

Что вспомнил он? Мелодию какую?
Лицо какое? В чьем письме строку? —
Пока, о долголетию кукуя,
Твердила птица мирное «ку-ку»?

...Но как он удивился этой липкой,
Хлеснувшей горлом, жгуче молодой,
С какой навек растерянной улыбкой
Вдруг очутился где-то под водой.
Потом, когда он, выгнувшись всем телом,
Спокойно спал, как дома, на боку,
Еще в лесном раю осиротелом
Звенело запоздалое «ку-ку».
Жизнь уходила. У-хо-ди-ла. Будто
Она в гостях не надолго была
И спохватилась, что свеча задута,
Что в доме пусто, в окнах нет стекла,
Что ночью добираться далеко ей
Одной вдоль изб обугленных и труб.

И тихо жизнь оставила в покое
В траве на скате распростертый труп.

Не лги, воображение.

Что ты тянешь

И путаешься?

Ты-то не мертво.

Смотри во все глаза, пока не станешь
Предсмертной мукой сына моего.

Услышь,

в каком отчаяньи, как хрипло

Он закричал, цепляясь за траву,

Как в меркнувшем мозгу внезапно выплыл

Обломок мысли:

«Все-таки живу».

Как медленно, как тяжело, как нагло.

В траве пополз тот самый яркий след,

Как с гибнущим осталась с глазу-на-глаз

Вся жизнь его, все восемнадцать лет.

Рви ворот свой, воображение. Помни,

Что для тебя иной дороги нет.

Чем ты упрямей, тем они огромней,—

Оборванные восемнадцать лет.

Ну так дойди до белого каленья,
Испепелись и пепел свой развей,
Стань кровью молодого поколенья,
Любовью всех отцов и сыновей.

Так не стихай и вырвись вся наружу,
С ободранною кожей, вся как есть,
Вся жизнь моя, вся боль моя — к оружию!
Все видеть. Все сказать. Все перенести.

...Он вышел из окопа. Запах поля
Дохнул в лицо предвестием доброты.
В то же мгновение разрывная пуля,
Пробив губу, разорвалась во рту.

Он видел все до точки, не обидел
Сухих травинок, согнутых огнем.
И солнышко в последний раз увидел.
И пожалел и позабыл о нем.

И вспомнил он, и вспомнил он, и вспомнил
Все, что забыл с начала до конца.
И понял он, как будет не легко мне.
И пожалел и позабыл отца.

Он жил еще. Минуту. Полминуты,
О милости несбыточной моля.
И рухнул, в три погибели согнутый.
И расступилась мать сыра земля.

И он прильнул к земле усталым телом
И жадно, разучаясь понимать,
Шепнул земле,— но не губами,— целым
Существованьем кончившимся:

Мать.

Ты будешь долго рыться в черном пепле,
 Не день, не год, не годы, а века,
 Пока глаза сухие не ослепли,
 Пока окостеневшая рука
 Не вывела строки своей последней,—
 Смотри в его любимые черты.
 Не сын тебе, а ты ему наследник.
 Вы поменялись местом, он и ты.

Со всей Москвой ты делишь траур. В окнах
 Ни лампы, ни коптилки. Но и мгла,
 От стольких слез и стольких стуж
 продрогнув,
 Тебе своим вниманьем помогла.
 Что помнится ей? — Рельсы, рельсы, рельсы.
 Столбы, опять летящие столбы.
 Дрожащие под ветром погорельцы.
 Шрапнельный визг. Железный гул судьбы.

Так, значит, мщенье? — Мщенье. Так и надо.
Чтоб сердце сына смерть переросло.
Пускай оно ворвется в канонаду.
Есть у сердец такое ремесло.
И если в тучах небо фронтовое,
И если над землей летит весна,
То на земле вас вечно будет двое, —
Сын и отец, не знающие сна.

Нет права у тебя ни на какую
Особую отдельную тоску.
Пускай, последним козырем рискуя,
Она в упор приставлена к виску.
Не обольщайся. Разве это выход?
Всей юностью оборванной своей
Не ищет сын поблажек или выгод
И в бой зовет миллионы сыновей.
И в том бою, в строю неистребимом
Любимые чужие сыновья
Идут на смену сыновьям любимым
Во имя правды, большей чем твоя.

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ

Ночь. Землянка. Фитилек
Разгорелся еле-еле.
Что же рано ты прилег?
Погляди, как дремлют ели,

Как в серебряной красе
Звезды вымылись сегодня
И спустились к людям все
Ради ночи новогодней.

Вот и мы, старинный друг,
Ради праздника такого
Оглядимся, что вокруг,
Покалякаем толково.

Говорят, за этот год
Все мы постарели малость.

Разве ж не было невзгод?
Разве сердце не сжималось?

Мальчик мой лежит в земле,
Твой подался к партизанам.
Посидим, старик, в тепле.
Огонек глядит в глаза нам.

Милый, слабый огонек
Ненадежен и неровен,
Но и он не одинок
Под накатом толстых бревен.

Много теплится огней,
Много звезд в России снежной.
В полночь вспомним мы о ней
Честно, празднично и нежно.

Слов не надо... Ни к чему.
Разве мы перед собраньем?
Лучше в сумраке, в дыму
Боевую песню грянем

И баян на полный вздох
Разведем, чтоб не остыла.

Слушай трубы поездов,
Что везут подарки тыла.

Слушай. Срок ли то настал,
Вьюга ль отклик проорала,
Иль откликнулся металл
В дальних кузницах Урала?

Дальше. Выше. На простор.
Чтоб звенел мороз трескучий.
Заправляй живей мотор,
Разворачивайся в тучи.

Мчись, любимая, лети.
Ты недаром служишь всем нам.
Что мелькнуло на пути?
Кто сигналил в Средиземном?

Это в свисте непогод
Угольком из кочегарки
Заправляет Новый год
К елке праздничной огарки.

Это горный великан
Варит мед, в Карпатах занят,

Варит пиво для Балкац,
Рядом с сыном партизанит.

Это в лондонском порту;
В корабельных доках, в дыме
Руки рупором ко рту
Юность Англии подымет.

Мчись, любимая, туда.
Боевой сигнал трубы твой:
— С Новым годом, порода!
— С новым счастьем! С новой битвой!

...Вст и полночь. Фитилек
Разгорается, как надо.
Фронт откуда недалек.
Слышишь нашу канонаду?

Слышишь славный гул вдали?
Это в заревах пожариц
Наша к западу пошла.
— С новым мужеством, товарищ!

СКАЗКА ВЬЮГИ

Не знаю, правда иль сказанье.
Скажу, как слышал, не солгу.
Он был студентом, жил в Казани,
В домишке низеньком, в снегу.
Все было впереди: Женева,
Дни возмужанья, дни труда,
Рожденье Правды в искре Гнева,—
Все было впереди тогда.

Покончив с шахматным турниром,
Заправив в лампе керосин,
Он с глазу-на-глаз с целым миром
Остался,—стало быть, один.

И слышит он, как в дымоходах
Поет крещенская пурга.
Когда ж достанется ей отдых?
Не знает отдыха карга.

И только выговорил это,—
Глядь: распахнулась дверь во тьму,—
Старуха входит, в снег одета,
И усмехается ему.

Он поднял лампу, чтоб взглядеться
В лицо старухи снеговой.
Недаром смельчаком был с детства.
Мечтатель с ясной головой.

— Кто ты, бабуся? Что за дело
Тебя к студенту привело?
— Я Вьюга, миленький. Глядела
Час битый в потное стекло.

— Да ты озябла, замечаю.
Весь твой салопец из прорех.
Войди, дам сахару и чаю,
Отрежу ситного,— не грех.

Прести еще вопрос нескромный:
Где проночуеть эту ночь?
И тут раздался вздох огромный.
— Студент, ты должен мне помочь...

Пошла выкладывать старуха
Без точек и без запятых
Речь, непривычную для слуха,
И сразу юноша притих. .

— Я для тебя стара, товарищ,
Мильонолетняя карга,
Когда по заревам пожарищ
Лечу, трубя во все рога.

«Товарищ» — это обращение
Подарок первый мой тебе.
Мое великое крещение
Припомнишь в завтрашней борьбе.

Студент приблизился и глянул
В глаза старушечьи сквозь дым,
И только вникнул и отпрянул,
Хоть и остался молодым,

Но старше стал на полстолетья.
А Вьюга — шась из-за стола,
Хлеснула об пол белой плетью,
Как будто пару поддала.

— Еще не раз на снежном пире
Мы повстречаемся с тобой.
Я прилечу к тебе в Сибири
И поведу в последний бой.

Когда в свинцовый шрифт листовок
Твой замысел вольется весь
И гул рабочих забастовок
Тебе откликнется: «мы здесь»,—

И ты поймешь, что закипела
Святая ярость непогод,—
Тогда припомни все, что пела
Старуха Вьюга в давний год.

В лесной глуши и в чистом поле
Припомни только и покличь.
Мы будем рядом и в подполье,
Сынок Владимир свет Ильич.

И будет день, когда навеки
Уснешь ты в купях ярких роз.
И я смежу скитальцу веки
В тридцатиградусный мороз.

И, твой последний сон лелея
У стен Московского Кремля,
Прильну к земле у мавзолея
И ей шепну: не плачь, земля.

И будут годы, будут годы
В лучах тревоги огневой,
В громах военной непогоды,
Когда твой город над Невой,

Встав под знаменами твоими,
Все беды вынесет в бою,
И я твое, товарищ, имя
Бойцам как лозунг пропою,—

И вот на Сезере, на Юге
Они пройдут, врагов круша.

.

— Что, хороша ли сказка Вьюги?

Студент ответил:

— Хороша.

БАЛЛАДА ПРО КАТЮ КОЗЛОВУ

Товарищи, помните Катю Козлову

Весной в сброк первом году?

Теперь не узнаете, честное слово,

Ту школьницу нашу, девчонку Козлову.

Я, может быть, сходства и сам не найду.

Еще в этом августе в Катиной школе

Пытали советских людей.

Немецкий начальник, гестаповец, что ли,

Устроил свою канцелярию в школе,

И все он поганее был и лютей.

Однажды увидел он Катю Козлову,

Увидел и сразу размяк,

Вьюном увивается, честное слово:

— Мейн Медхен, мейн Гретхен, мейн Кетхен

Козлова...

Сует шоколад, предлагает коньяк.

Но Катя голубушка строго держалась:
То спрячется к бабке в подвал,
То сажей измажется — чистая жалость,
То душой прикинется. Словом, держалась
Отлично. А он ей житья не давал.

И в зимнюю ночь комсомолка Козлова
Пошла к партизанам одна
И все рассказала от слова до слова,
И страшную клятвой клялась им Козлова,
Что будет народному делу верна.

Представьте. Землянка. Дверь настежь. Вбегают
Та девушка в снежной ночи
И смелую помощь друзьям предлагает.
Печурка гудит, и коптилка моргает.
Толпятся вокруг девушки бородачи.

Картошку горячую Кате Козловой
И чаю в манерке дают.

— Спасибо за помощь, за доброе слово,
За то, что пришла к нам, товарищ Козлова.
— Спасибо и вам за приют.

Крепчает мороз. Плохо спится фашистам
В кирпичных домах городка.

А Катя бежит по сугробам пушистым
В знакомую школу. Не спится фашистам.
Для них и декабрьская ночь коротка.

Стучится в окно она, с ужасом входит
В ту комнату, в собственный класс.

И медленно немец к девчонке подходит,
И глаз оловянных с девчонки не сводит.
И слышится Кате:
— Терпи. Ты клялась.

Он налил вина ей. С кривою усмешкой
Не сводит с лица ее глаз.

И слышится Кате:
— Терпи. Но не мешкай.

Смотри на фашиста с такой усмешкой.
Но делай, что надо, скорей. Ты клялась.

И чудится Кате, что в комнату ветер
Меж бревнами щель отыскал.

И ветер на Катяны мысли ответил,
Как всыпать в бокал, чтобы тот не заметил,
И быстро к нему переставить бокал.

И немец качнулся и зубы оскалил.
Глаза тяжелы, как свинец.

Всю скатерть закапал.
— Что было в бокале?
Лицо исцарапал.

Вопит:

— Цианкали.

И валится на пол...

И это конец.

Все кончено. Вот он. Всмотрись же, Козлова.
Всмотрись, и очнись, и беги.

Ты клятву исполнила, вспомнила слово.

Беги, пропадешь, комсомолка Козлова.

На улице крик. В коридоре шаги.

На этом бы кончить и точку поставить.

Да нет. До конца далеко.

У нас разговор заведен не проста ведь.

Легко ли в такую минуту оставить

Любимую? Прямо скажу, не легко.

Здесь кто-то сказал, что погибла Козлова.

Что верить Козловой нельзя.

Кто выступить хочет? Кто требует слова?

Уж если попала к фашистам Козлова,

Почтим ее светлую память, друзья.

А вдруг — в полушубке дубленом, из вьюги,
Румяная, злая, как зверь, —
Не знаю, на севере или на юге, —
Спешит партизанка, подруженька вьюги,
И входит живая — сюда, в эту дверь.

А вдруг не она, а такая же точно
Ушла невредимой в ту ночь?
Ведь рыщет фашист по равнине восточной,
Он ищет ее иль такую же точно,
Меньшую сестру твою, старшую дочь.

Он рыщет с огнем за Невой и Осколом,
Где гордая девушка та,
И Катиных сверстниц в домах и по школам
Чернит полицейским своим протоколом,
Дознаньями мучает с пеной у рта.

А вдруг — это правда, что девушка Катя
Ушла невредимой во мгле?
Иль надо землянку в лесу отыскать?
Иль бородачи уже встретились с Катей,
С той самой, на той же Советской земле?

Вчера мне принес неизвестный товарищ
От Кати два длинных письма.
Он шел через фронт, мимо черных пожарищ,
Сквозь вьюгу.

Да здравствует этот товарищ,
И Катины письма, и Катя сама!

БАЛЛАДА
О ТОМ, КАК СПАССЯ ЖАН ЛЕКОК

Н. Брауну

Дверь настезь, — и вошел моряк
Обугленный, как дьявол.
Немало знал он передряг,
Немало, видно, плавал,
— Глоток вина! Внутри горит,
Гортань моя распухла.
Дай отдышаться, — говорит
И валится, как кукла.
— Да что глоток, когда горит
Само морское лоно.
Дай кислорода, — говорит, —
Не пожалей баллона.
Глядите, люди, — говорит, —
На гостя из Тулона.

И мы столпились вокруг стола
И восклицаем: — Если
Вас опалило не до тла,
Вы, стало быть, воскресли.
Восстаньте, смертью смерть поправ,
И расскажите всем нам
О самой злой из переправ
На море Средиземном.
Восстаньте, смертный, — говорим, —
Как бог во время оно.
Сотрутся в грязь Берлин и Рим,
Исчадья Вавилона.
Воспряньте духом, — говорим, —
Товарищ из Тулона.

И гость в ответ: — Я все скажу,
Все, кажется, припомню.
А что забыл, соображу,
Хоть' это не легко мне.
Пред вами Жан Мари Лекок,
Француз со дня рожденья.
Глоток вина, еще глоток, —
Прошу о снисхожденьи.
Да что вино, воды глоток
Мне прямо в горло влейте.

Помощник кока, Жан Лекок
Вчера стоял на рейде.
Любого пошла мне глоток,
Прошу, не пожалейте.

Еще вчера хороший бриз
Трепал на рейде флаги.
Барашки белые гнались
По средиземной влаге.
Еще вчера мы на борту
Стояли, зубы стиснув,
И вглядывались в пору ту
В людишек ненавистных.
Мы вглядывались, — что за дрянь, —
И вслушивались молча:
Откуда лающая брань,
Откуда говор волчий?
Как будто немцы, — дело дрянь, —
Соображали молча.

Они вошли, как смерч: столбом
Серо-зеленой пыли.
Полсотня немцев, сотня бомб
В любом автомобиле.
По кораблям пронесся вздох,
И рухнул вздох куда-то,

Когда раздался первый «хох»
Германского солдата.
Да. Мы вздохнули, — говорю, —
Когда врагов колонна
Затмила светлую зарю
Над гаванью Тулона,
Вздохнули страшно, — говорю, —
Мы, моряки Тулона.

Не помню, кто запел, но хор
Могучих глоток грянул.
И дыма черного вихор
От песни той отпрянул.
Не помню, кто запел тогда,
Но наша Марсельеза
Пошла раскачивать суда,
Раскачивать железо.
Я помню, честно говоря,
Что на сердце кипело.
Ту песню пели мы не зря:
Все море с нами пело, —
Орало, грубо говоря,
Всей штормовой капеллой.
И Жан Лекок смахнул слезу
И говорит угрюмо:

— Уже готовились внизу,
Уже несли из трюма
В брезент закутанную вещь,
Примерно, вроде бочки.
Был мертвый штиль. Он был зловещ.
Он был на мертвой точке.
Потом, друзья, включили ток.
Все в мире зашаталось.
Качнулся Запад и Восток.
Честь Франции осталась.
Глоток вина, еще глоток, —
Простите мне усталость.

О, как я трудно выгробал,
От горя задыхаясь,
А флот французский погибал
И погружался в хасс.
Была нас сотня на плоту.
И «Юнкерс» двухмоторный
На голь беспомощную ту
Нырнул из тучи черной.
Нас расстрелял фашистский асс
Дождем своим свинцовым.
Морская ругань не для вас,
Не брошу брань в лицо вам

Не для того я шкуру спас
Под тем дождем свинцовым.

Где Пьер Диманш, где Жак Бриссо,
Где Клод Легюм, — не знаю.

Где наше будущее все?

Где Франция родная?

Швырнул их взрыв туда в разбол

И сжег в кремешной ванной

Иль шваркнул о гранитный мол

Грудною клеткой рваной.

Лежат на дне, не говорят,

Молчат они о мщеньи.

Лежат просоленные в ряд,

В прохладном помещеньи.

Да. Лишних слов не говорят.

Но я скажу о мщеньи.

И ворот свой рванул он вдруг

И так сверкнул глазами,

Что жадных слушателей круг

Затрясся весь и замер.

Он поднял маленький кулак

И выговорил хрипло:

— Еще французский вьется флаг.

Еще не все погибло.

Еще не все, — я говорю, —
Потеряно с Тулоном.
Мы встретимся в родном краю,
И море не лгало нам.
Что я сказал, — то повторю
И в том клянусь Тулоном.

И он ушел в осенний дождь
И в полном мраке сгинул.
Ушел как был, — оборван, тощ.
А дождь сильнее хлынул,
Забарабанил по стеклу,
По ржавому железу.
Но мы слышали сквозь мглу
Родную Марсельезу.
Ее насвистывал моряк,
И буря подпевала.
Тяжелый тент водой набряк.
Скрипела дверь подвала.
А где-то с песней шел моряк,
И буря подпевала.

ПОВЕСТЬ О ЛЕТЧИКЕ

В то утро визг машин свирепых
Отчетлив был во всех ушах.
Земля, расшатанная в скрепах,
Тянулась из траншей и шахт
В прожилках вымершей породы.
А там, сгибая сталь в дугу,
Плясал огонь краснобородый
На европейском берегу.

В то утро, бреющим полетом
Кружа над миром целый час,
С последним, может быть, оплотом
Своим прощался прусский асс.
Он верил, что один лечебен
Режим убийцы для него,
Бомбил бетон и в мелкий щебень
Крошил творенья торжество.

И вот, кончая рейс недлинный,
Вдохнул он жадно кислород
И над фламандскою долиной,
Снижаясь, сделал разворот.
Не гнутся вязы над дерезней.
В харчевне песня не слышна.
Один пастух с овчаркой древней
Бредет, как встарь. И тишина.

Заметил немец тварь живую
Внизу, на выжженном холме,
И, беспредельно торжествуя,
Он сделал выкладку в уме.
С ним не было и килограмма
Железной смерти: роздал всю.
Тогда он распластался прямо,
Весь на весу, весь на весу.

Он сделал круг над жертвой сонной.
Овчарка скалилась рыча.
Пастух услышал занесенный
За облаками взмах бича.
Зигзагами, как хитрый заяц,
Он побежал, упал потом.
А враг скользил над ним, вонзаясь
В пространство режущим винтом

Решил он битву подытожить,
Восьмерку по небу чертя,
И пастушонка уничтожить
За то, что тот еще дитя.
Планируя над мальчуганом,
Чего он ждал, фашистский асс?
Какой расплаты чистоганом
За то, что жизнь не удалась?

Европа только что на милость
Крылатой гадине сдалась.
Она под ним еще дымилась.
И вот — как бы ушла из глаз.
Фашист в тоске полудремотной
О мастерстве своем забыл,
И очередью пулеметной
Он пастушонка в землю вбил.

Овчарка взвыла, убегая.
Но он уже отстать не мог.
Рванулась очередь другая,—
Все скачет серенький комок.
Тогда, оглохший и незрячий,
Чтоб только прекратить выть,
Он выключил мотор горячий
И камнем рухнул на нее.

БАЛЛАДА
ПРО ФАШИСТСКОГО АССА

Гудит мотор, летит мотор
Сквозь тучи битый час.
Широк завьюженный простор.
Жесток фашистский асс.

А сзади асса, скрючен весь,
Мертвец скрипит костями,
Теряет чопорность и вес,
Но весел, чорт возьми.

Видать, он так в машину врос,
Что чорт ему не брат.
И слышит асс его вопрос:
— Ну где ж он, Ленинград?

И отвечает асс:

— Гляди,

Господь тебя хранит.

Вот он маячит впереди,

Закованный в гранит.

Вот гордый город, что не взят
Германией твоей.

И тихо смотрит асс назад,

Завьюжен до бровей.

Мертвец молчит, во мглу впился.

И снова слышит асс:

— Россия видима не вся.

Ну где же он, Кавказ?

И отвечает асс:

— Гляди,

Как страшен наш разбег.

Вот он синее впереди,

В короне льда Казбек.

Вот он в расселине сверкнул,

Над пропастью вися,

Тот гордый маленький аул,

Что немцам не сдался.

Глядит мертвец сквозь синь стекла,
И понимает он,
Что Волга вспять не потекла,
Что не сдастся Дон.

Широк завьюженный простор.
Жесток фашистский асс.
Пока не сдаст его мотор,
Не кончен наш рассказ.

На запад он летит в дыму.
Стихает голос гроз.
И слышит асс: мертвец ему
Вновь задает вопрос:

— Где Альпы в ледяной красе,
Где скалы Пириней,
Где страны скованные все,
Где? — отвечай верней.

Где арестованный Париж,
Повешенный Белград?
И асс кричит ему:
— Смотри ж!
Теперь ты будешь рад.

Вот страны вечной немоты.
Они смирней овец.
Я разбомбил их, чтобы ты
Жил полчаса, мертвец.

Широк завьюженный простор.
Жесток фашистский асс.
Еще не сдал его мотор.
Не кончился рассказ.

Пока не рухнет он в дыму
В полете страшном том,
Пока пришипился к нему
Мертвец с кривым крестом,

Пока не пробил их черед
И смерть их не берет,
Рассказ торопится вперед,
Торопится вперед.

НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО

...И снова вели нас по Штутгарту или Штеттину,
По плацам и улицам, мимо казарм и церквей,
По черной Германии гнали гуртом как скотину.
А ливень все хлеще, дорога мертвей и мертвей.

Сенсация в городе. Белый невольничий рынок.
Под куполом цирка, в снопах электрических фар,
Пошла распродажа: пятьсот молодых украинок
И столько же русских подростков. Товар как то-
вар.

Впервые в Европе за целое тысячелетье.
Недаром толпятся зеваки, смыкая кольцо.
Недаром хохочут надсмотрщики, щелкая плетью;
Славянские девушки прячут в лохмотья лицо.

Кулак подозрителен. Долго и мрачно глядел он,
Ворчал, чертыхаясь, что мускулатура слаба.

На марки и пфенниги счет. Это важное дело.
И булки на веру не купишь, не то что раба.

В бараках нет света. Как тесно на нарах, как
тускло

Сквозь прутья решеток блестит обещанье весны.
О, как далеко до границы, до той белорусской
Обугленной станции. Как коротки наши сны.

Что снится нам? Рельсы. Снега. Эшелоны. Рас-
путья.

Разлука нам снится во всю ее ширь и длину.
Так вы не забудьте нас — слышите вы? — не за-
будьте.

И мы не забудем, пока не погибнем в плену.

О, как мы продрогли под этим надолго нависшим,
Брезентово-серым, промозглым, немецким дождем.
Прощайте, прощайте. А если мы писем не пишем,
То значит — не писем от вас. а спасения ждем.

Вам ветер сплет, как летел сквозь далекие дали,
Зарывшись в туманы от окриков сторожевых.
Прощайте. О, только бы слез на лице не выдали.
О, только бы зубы сцепить и остаться в живых.

За все разочтемся. За все. И проснемся однажды
И звезды увидим вверху и дорогу внизу.
За каждую миску собачьего пойла. За каждый
Их окрик картавый. За каждую нашу слезу.

ЛЕОНИДУ ПЕРВОМАЙСКОМУ

...Кони ржут за Днепром и Сулою.
В стольном Киеве слава звенит,
Милый друг! Не напрасно былое.
Всечен праздник. Недвижен зенит.

Не напрасно мы молоды были.
Не напрасно нам жизнь удалась:
В славе памятной сказки и были,
В славе разума, в зоркости глаз.

Хороша была. Чистая, злая, —
Все бы жестче ей да потрудней.
И летела, и шла, и ползла, и
Не транжирила попусту дней.

Сколько кубков из пепла раскопок,
Сколько насмерть скрещенных рапир,

Сколько пляшущих звезд в телескопах.
Вечный блеск. Нескончаемый пир.

Помнишь — кручи Кавказа, кругами
Взявшись за руки, мчались во мглу.
Древний край в митингующем гаме
Приглашал нашу песню к столу...

Помнишь — в белом цветении вишен,
В безотчетных слезах накипев,
За сто лет, словно рядом, был слышен
Тот шевченковский ранний напев?

Ничего, ничего не погибло.
Кони ржут за Сулой и Днепром.
Сквозь пургу откликается хрипло
С Черноморья и Балтики гром!

В страшный час мировой этой ночи,
В страшный час беспощадной войны
Только зоркие, чистые очи
Называться глазами должны.

Они видят от края до края
Небо в звездах и землю в дыму
И опять, и опять не сгорая,
Не туманятся, смотрят во тьму.

Это, может быть, стойкий зенитчик
В предрассветные тучи впился;
Партизанка последней из спичек
Жжет стога и уходит в леса;

Или мать, перечтя не впервые
Дорогую от первенца весть,
Ясно видит снега фронтовые,
Глаз не может от строчек отвести.

Да. Война — это школа страдания,
Это молодость сына в крови.
Не являйся к ней с маленькой данью,
Только с жизнью, — и ту разорви.

В униженьи, в тоске об ушедшем,
Чашу горькую выпив до дна,
Когда, кажется, жить уже нечем,
Ты поймешь, что такое война.

И наощупь, по смутному следу,
Не глазами, а трепетом век
Ты сквозь слезы увидишь победу,
Зоркий, чистый, живой человек.

ПОСЛАНИЕ ВНУКАМ

Вы узнаете нас после долгой зимы,
Но еще до весны, по седым ураганам,
По работе, которая так дорога нам.
Высота — это мы;
Быстрота — это мы
И огонь — это мы.
Он недаром гудел
И метался в плавильнях и пурпурных горнах.
Столько было у нас лихорадок рекордных,
Столько начатых дел,
Столько прерванных дел,
Столько замыслов.

Что ж! По горячим следам
Изучите, исследуйте, вникните, троньте,
Мы откликнемся на море, встанем на фронте,
За рулем, у станка,
Там и тут, тут и там.

Это мы.

Вы узнаете нас все равно

В вашей собственной юности, полной предчувствий,

В вашей завтрашней зрелости, в вашем искусстве,

В долгом счастье, которое вам суждено.

Мы стремились родиться и жаждали жить,

И, погибнув, еще раз рождались и гибли.

Не осталось от нас илиад или библий,—

Мы для вас образцом не хотели служить.

Наша мысль — метеора летящего след,

Наша сила — мотора гудящего ритм.

По запавшим глазам и по лицам небритым

Вы узнаете нас через тысячу лет.



СОДЕРЖАНИЕ

Сын (поэма)	5
Новогодняя ночь	48
Сказка вьюги	52
Баллада про Катю Козлову	57
Баллада о том, как спасся Жан Лекок	63
Повесть о летчике	70
Баллада про фашистского асса	73
Неотправленное письмо	77
Леониду Первомайскому	80
В страшный час	82
Послание внукам	84

Редактор *Е. Книпович*

А2642. Подписана к печати 5/X 1943 г. Печ л. 2^{3/4}.
Авт. л. 3,09. Уч.-изд. л. 3,23. Тираж 10 000. Зак. 1073.

Цена 2 р. 50 к.

Тип. „Красный печатник“ гос. изд-ва „Искусство“,
Москва, ул. 25 Октября, дом 5.

2 р. 50 к.

